

АЛЕКСАНДР ОСЫКОВ



НА РОДИНУ

РАССКАЗ

— Дмитрий Семенович, голубчик, да что же это вы такое придумали! Да как же вам такое могло прийти в голову! — грохотал на весь кабинет сочным могучим басом Имре Имревич Шандор, начальник фортификационного строительства в небольшом финском портовом городе Котка.

Эту стройку царское правительство затеяло в самый разгар империалистической войны в 1915 году, когда Великое княжество Финляндское ещё входило в состав Российской империи. Временное правительство, придя к власти, сразу же резко сократило ассигнования на нужды строительства, а летом семнадцатого и вовсе его приостановило. К тому времени правящий в Финляндии сенат, опиравшийся на так называемый Добровольческий финский охранный корпус, Временное российское правительство не признавал, а витиеватые депеши с распоряжениями Керенского попросту игнорировал.

Дисциплинированные финские рабочие отработали, не получая жалования, пару месяцев, а потом также дисциплинированно, в один день разошлись по своим домам, сразу после того, как до Котки дошло известие об октябрьских событиях в Петрограде. Впрочем, впоследствии многие из них подались в Красную гвардию, которая в январе восемнадцатого совершила государственный переворот, в одну ночь захватив в Гельсингфорсе все правительственные учреждения, а также почту, телефон и телеграф в точном соответствии со знаменитым сценарием вождя мирового пролетариата. Фин-

ОСЫКОВ Александр родился в 1959 году в городе Белгороде. Окончил Белгородский технологический институт, кандидат технических наук. Автор поэтических сборников “Небесная лестница”, “На краю земной печали”, “Долг земной”, а также рассказов, которые печатались в местных и центральных изданиях. Член Союза писателей России. Живёт в Белгороде

ские красногвардейцы сформировали свое правительство — так называемый Совет народных уполномоченных, наподобие Совнаркома, но в отличие от наших комиссаров, финские “уполномоченные” продержались у власти чуть больше трех месяцев и затем разбежались под натиском финской “белой” армии генерала Маннергейма и германских войск, призванных сенатом для спасения Финляндии от “красной заразы”.

Русские инженеры и их семьи все это время жили за счет средств, сэкономленных хозяйственным и ладившим с любой властью Шандором, огромным, напоминающим добродушного медведя толстяком с пышными мажарскими усами и такими же густыми, косматыми бровями, придававшими его обыкновенно умиротворенному лицу почти свирепый вид в те минуты, когда он был чем-либо рассержен или взволнован.

Вот и сейчас Имре Имревич сидел, нахмутив свои роскошные брови, взволнованно размахивал руками и продолжал грохотать зычным голосом:

— Да куда же вы собрались, Дмитрий Семенович? А дети? У вас же четверо, мал мала меньше. Как они перенесут дорогу? Знаете, что вас ожидает в России? Да вас большевики арестуют сразу же, как вы сойдете на берег.

Сидевший напротив Шандора главный инженер строительства Дмитрий Семенович Кузнецов — молодой, едва разменявший четвертый десяток человек, — смотрел на своего собеседника мягким и, как могло показаться со стороны, даже кротким взглядом. В зачесанных на высокий лоб гладких темно-русых волосах светились паутинки преждевременной седины, что добавляло всему его облику ещё больше кротости, и лишь щеточка усов, воинственно топорщившихся над верхней губой, могла подсказать внимательному наблюдателю, что человек этот в определенные моменты может быть решительным и даже жестким.

— Но мы ведь едем на родину, — тихим, чуть дрогнувшим от волнения голосом ответил Дмитрий Семенович.

— Помилуйте, голубчик, какая родина? Да вы понимаете, что творится нынче в России?! Дмитрий Семенович, вы же талантливый архитектор, инженер милостью Божьей. Что вы будете там делать, строить, что ли? — усмехнулся Имре Имревич. — Так в России теперь все больше разрушают, до основания, а затем — или как они там распевают. Ну, куда вас нелегкая несет, к этому обезумевшему сброду, к этим голодранцам.

— Да, но этот, как вы изволили выразиться, обезумевший сброд ведь и есть русский народ.

— Народ? Какой народ?! Послушайте, дорогой Дмитрий Семенович. Вы знаете, я венгр, учился в Германии, приехал работать в Россию. Почитай, уж без малого десять лет, как я верноподанный его Императорского Величества. И что? Долиберальничались с господами социалистами, а их всех вешать надо было без разбора. И Ленина с Троцким в первую очередь! — Имре Имревич перевел дух и продолжал: — Слава Богу, здесь немцы голодранцам местным хвосты-то поприжали. Да-с! Так что теперь вот финское подданство принимаю. Хорошие специалисты любой власти, любому народу нужны. Послужили России верой-правдой, послужим теперь господину Маннергейму.

— Имре Имревич, вы прекрасно знаете, я никогда не сочувствовал идеям социал-демократии, я вообще в этом не особенно силен. Большевики, меньшевики... У меня мать в Петрограде осталась, и отец там похоронен.

— Ну, так что ж? У меня родители в Будапеште, и что мне теперь прикажете отправляться туда через всю Европу, через линию фронта, через весь этот, с позволения сказать, бедлам, прости Господи? Оставайтесь, Дмитрий Семенович. Вот и новый губернатор, господин Хамалайнен давеча уверил меня, что наше строительство переходит под попечение финского правительства. Скоро возобновится финансирование. Жалование обещают не хуже прежнего.

— Господин Шандор, я русский и хочу служить своему народу и своей родине.

— Э, батенька, да ведь это все словеса, высокие материи. А по мне, так я сам себе и народ, и родина, и царь-батюшка. Вот так-с. Ну, а о Маше вы

подумали? Ладно, у вас отец — путиловский рабочий, но она-то дворянка, бестужевка. Что Марья Михайловна думает о вашей авантюре?

— Маша давно уже настаивает, чтобы мы вернулись в Россию. Так что это наше общее решение.

Удивленно вскинув мохнатые брови, Имре Имревич посмотрел на собеседника долгим, изумленным взглядом, хотел ещё что-то сказать, но то ли передумал, то ли не нашлось у него больше слов, и он лишь махнул как-то обреченно рукой, потом взял прошение Дмитрия Семеновича и размашисто, быстро подписал. Протянул бумагу своему, теперь уже бывшему коллеге и вдруг, резко поднявшись из кресла, подошел и крепко обнял Дмитрия Семеновича за плечи.

— Храни вас, Господь, Митенька! Береги детей и Машу. Прощай...

* * *

Дмитрий Семенович стоял на верхней палубе пассажирского парохода, завершавшего свой последний регулярный рейс из России в Финляндию и обратно. Последний, так как после разгрома красного финского правительства германскими войсками и армией Маннергейма отношения между большевистской Россией и теперь уже суверенной Финляндией резко ухудшились.

Он пристально вглядывался в серую от тумана, скупо освещенную холодным балтийским солнцем даль Финского залива. И внезапно из пустынной, равнодушной однообразности моря словно вынырнула каменная громада острова Котлин, и стали явственно проступать до боли знакомые очертания Морского собора, сразу заблестевшего на солнце своими эмалевыми боками. Дмитрий Семенович почувствовал, что по его лицу стекают соленые капли, и он не разбирал, брызги ли это от расходившихся волн или слезы тревожной и вместе с тем какой-то необъятной радости, охватившей его в ожидании близкой встречи с родным городом.

Перед его глазами как-то сами собой стали возникать картины из прошлой, казавшейся теперь такой далекой, жизни. Вспомнились мамино лицо и её маленькие теплые руки, как он целовал их в последний раз перед отъездом, осторожно и нежно, боясь потревожить едва зарубцевавшиеся раны от ожогов, полученных мамой во время ужасного пожара, случившегося зимой 1915 года, в доме, где когда-то он родился и где жил тогда с мамой, Машей и четырьмя маленькими детьми.

Этот небольшой, но уютный деревянный домик, стоявший в самом конце Чернавской улицы, непосредственно у ограды Охтинского кладбища, построил его отец — Семен Кузнецов, рабочий Путиловского завода, токарь высочайшей квалификации, настоящий мастер своего дела. Седой, немногословный, с усталым взглядом добрых, карих глаз — таким запомнился Дмитрию Семеновичу отец, больше других своих детей любивший именно его — Митю, то ли из-за удивительного внешнего сходства с ним, то ли от того, что Митя был последним ребенком в семье — поскрёбшем, а поздних детей родители любят особенно сильно, точно боясь, что не успеют за оставшиеся годы подарить младшенькому столько же любви и заботы, сколько уже досталось старшим... Было ли так на самом деле или Мите только казалось, что его любят больше других, но в Институт гражданских инженеров он смог поступить в основном благодаря стараниям отца, не жалевшего сил и средств на то, чтобы его любимец Митя стал дипломированным инженером.

От мыслей об отце Дмитрий Семенович вновь вернулся к воспоминаниям о том страшном дне, когда из загоревшегося по неосторожности нянечки деревянного отцовского дома выносили они с мамой и Машей перепуганных, плачущих детей, а потом пытались спасти хоть что-то из мебели и имущества.

Мог ли он представить тогда, какие пожары вскоре запылают по всей стране! И сколько миллионов безвинных русских душ сгорит в том страшном, безумном пламени, которое в одночасье охватит всю Россию и в кото-

ром она, точно неопалимая купина, будет гореть целую вечность, но не сгорит никогда...

Он вспомнил возбужденных, радостных эмигрантов из России, огромной толпой сходявших на берег с переполненного парохода в порту Гельсингфорса. Как радостное возбуждение на их лицах сменялось неподдельным изумлением при виде чудаковатого семейства, стремящегося на свою обезумевшую родину, в страшный революционный ад, из которого они сами только что так благополучно выбрались, и Дмитрий Семенович снова и снова прокручивал в голове детали прощального разговора с Шандором, все время мучаясь от одной мысли:

“А может, Имре Имревич прав, и зря они затеяли это возвращение? Может, стоило остаться в маленькой, сонной Котке, которую даже события финской мини-революции в бытовом плане не затронули практически никак. И где им с Машей и детьми — под крылом у практичного Шандора — действительно было бы покойней и сытней”.

И в это мгновение он опять вспомнил о маме, и откуда-то издалека, из холодного сумрака скромного петроградского жилища на него глянули — устало и тепло — ясные мамины глаза, и ему послышался любимый и родной голос, который узнал бы из миллионов других:

“Как ты там, сынок, на чужбине? Скоро ли свидимся? Сердце-то все болит и болит...” Дмитрию Семеновичу вдруг почудилось, будто это сама Россия с обожженными, как у мамы, руками и лицом, зовет к нему о помощи.

Его мысли были прерваны прикосновением чьей-то легкой руки, которая осторожно и нежно легла ему на плечо.

— Маша! — Дмитрий Семенович обернулся и обнял жену.

— Ничего, Митенька, ничего. Все будет хорошо, все будет хорошо, — шептала ему на ухо Маша.

Они не знали, что их ждет впереди. Они не знали тогда, что им предстоит дорога через всю истерзанную, обожженную Гражданской войной Россию, которая притягивала их к себе какой-то таинственной, неведомой силой.

И Дмитрий Семенович повторял вслед за женой:

— Все будет хорошо, все будет хорошо.

ЛУКИЧ

РАССКАЗ

Когда я был маленьким, в нашем доме, в подвале, располагалась котельная, где работал истопником седой, хмурый мужик, которого все звали просто по отчеству — Лукич. И летом, и зимой он ходил в одной и той же грязной ватной телогрейке и стоптанных кирзовых сапогах, пьяно пошатываясь и не обращая внимания на неодобрительные, а порой и презрительные взгляды людей.

Обыкновенно Лукич начинал прикладываться к бутылке ещё с самого утра и к вечеру набирался так, что засыпал прямо в котельной. И вот тут для нас, озорников-несмышленишек, начиналось веселье. Мы собирались ватагой, человек семь-восемь, у зарешеченного окошка котельной и истошными голосами принимались вопить:

— Пьяница, пьяница, за бутылкой тянется.

А потом ещё громче и обиднее:

— Лукич — дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует.

Так мы могли изводить бедного истопника пять, десять, пятнадцать минут без передышки. И при этом с каким-то смешанным чувством шкодливо-го азарта и пробирающего до самых пяток ужаса ожидали момента, когда заспанный, с седыми всклокоченными волосами, озверевший от наших дразнилок, Лукич выбежал из подвала и с громкой бранью начинал гоняться за нами по двору, шумно топоча старыми кирзовыми сапогами. Мы бросались врассыпную, кто куда, и всякий раз оказывалось, что неуклюжий и неловкий Лукич никого не мог догнать. Побегав за нами с полминуты, он начинал задыхаться, останавливался и, сердито махнув рукой, возвращался к себе в подвал.

Но однажды мы, похоже, разозлили Лукича не на шутку, потому что гонялся он за нами особенно долго, а потом почему-то решил поймать именно меня. Еле увернувшись от его грязных, пропахших табаком и углём рук, я в ужасе бросился бежать со двора на улицу, свернул в школьный сквер и что есть духу помчался по аллее. Лукич начал уже отставать, когда я вдруг зацепился за что-то ногой, чуть не упал и заметил боковым зрением, что мой замечательный перочинный ножичек, с которым я никогда не расставался, выпал у меня из кармана и валяется на асфальте. Я притормозил, быстро нагнулся за любимой вещицей, но едва успел поднять и положить в карман, как тут же с ужасом ощутил на своем плече тяжесть от прикосновения грубой мужской руки. От страха я был не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить слово. Лукич повернул меня к себе лицом и, продолжая больно сдавливать плечо, глянул сердитым, злым взглядом. Я зажмурился и простоял так, наверное, всего несколько секунд, но мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я услышал хриплый и грубый голос:

— Тебе лет-то сколько, пацан?

Я собрался с духом и, стыдясь смотреть Лукичу в глаза, еле слышно пролепетал:

— Четыре. Скоро пять будет.

— А звать как?

— Саша.

Лукич, продолжая смотреть на меня все ещё сердитым взглядом и тяжело дыша, заговорил вдруг тихо и как бы с трудом подбирая слова:

— И мой вот младшенький... Тоже Сашка... Как ты беленький, в мать... Когда на фронт уходил, пять ему исполнилось... Меня вот война пожалела, а их нет...

Губы у Лукича задрожали, и я, подняв голову, с удивлением увидел, как из глаз его по щекам, заросшим густой, седою щетиной, покатались настоящие слезы. Помню, что тогда это меня просто поразило, так как прежде мне не приходилось видеть плачущих мужчин.

Я видел несколько раз, как плакала моя мама, как плакали из-за “четверок” мои сестры — круглые отличницы, как плачут, ушибив коленку, мои сверстники, но чтобы взрослый дядька, да ещё такой большой и страшный, как Лукич, вдруг взял, да и расплакался! Потрясенный, я смотрел и не верил своим глазам. Тем временем Лукич отпустил мое плечо и уже спокойным, почти ласковым голосом сказал:

— Ладно, Бог с тобой. Беги, пацан.

Легонько шлепнув меня, он развернулся и тяжело зашагал прочь, громко стуча старыми солдатскими сапогами.

Во мне же вдруг словно проснулся прежний, леденящий душу страх. Почти ничего не соображая, я побежал вперед, подальше от ужасного Лукича, перелез через какой-то штакетник и очутился в незнакомом, нелюдимом переулке, среди частных домов, окруженных высокими, неприступными заборами. Вконец выбившись из сил, я остановился, чтобы перевести дух, и тут остро и ясно осознал, что заблудился. На улице между тем стемнело. Откуда-то донесся женский голос:

— Саша, хватит гулять, поздно уже. Быстро домой!

И хотя голос был похож на мамин, я с отчаянием в душе понял, что это зовут не меня. Слезы сами стали наворачиваться на глаза, но я усилием воли заставил себя не плакать и решил, что надо просто идти вперед, авось ку-

да-нибудь и выйду. Вскоре я действительно вышел на широкую, по вечернему оживленную, но, к сожалению, незнакомую улицу. И тут я увидел двоих военных, одетых в новенькую, с иголочки форму, в начищенных до блеска сапогах. Мое сердце радостно забилося.

— Солдаты! Эти точно не обидят, — пронеслось в голове, и я тихонько пристроился сзади.

Военные оживленно беседовали и не обращали на меня никакого внимания. Я же, стараясь идти с ними в ногу, радостно затопал, по-солдатски размахивая руками, как вдруг — о, чудо! — узнал до боли знакомые, обшарпанные металлические ворота, за которыми виднелся мой дом. Я тут же перешел на бег, и ещё только влетев во двор, увидел у дверей нашего подъезда тревожные фигуры мамы с отцом.

“Ох, и попадет же мне сейчас”, — подумал я, почему-то совсем не страшась наказания.

Но вопреки ожиданиям родители встретили меня ласково. Видимо, к этому моменту их первоначальный гнев из-за моего отсутствия уже перерос в настоящую тревогу. Так что отец, когда я подбежал к ним, обнял меня за плечи и сказал совсем не сердито:

— Слава Богу, нашелся. Ну-ка домой — быстро, и спать!

Мама же ничего не говорила, а только целовала меня в щеки и в лоб мокрыми от слез губами. Я выскользнул из родительских объятий, быстро прошмыгнул в квартиру, мигом разделся, выключил в комнате свет и почти сразу заснул.

Мне снилось, как огромный, страшный Лукич гонится за мной, настигает, хватает за плечи, поворачивает к себе и вдруг начинает гладить по голове, приговаривая:

— Сыночек, сыночек мой миленький.

Проснувшись утром, я долго лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим, и вспоминал события вчерашнего дня. Я думал о том, что никогда больше не пойду с пацанами дразнить Лукича и издеваться над ним. А после, уже днем, гуляя во дворе, я подошел к распахнутому окошку котельной, просунул руку между прутьев металлической решетки и, совсем чуть-чуть поколебавшись, осторожно положил на подоконник свой маленький перочинный ножик, представляя, как обрадуется подарку Лукич.